# Станция Зима

***Поэма

Мы, чем взрослей, тем больше откровенны.
За это благодарны мы судьбе.
И совпадают в жизни перемены
с большими переменами в себе.

И если на людей глядим иначе,
чем раньше мы глядели, если в них
мы открываем новое, то, значит,
оно открылось прежде в нас в самих.
Конечно, я не так уж много прожил,
но в двадцать всё пересмотрел опять —
что я сказал,
но был сказать не должен,
что не сказал,
но должен был сказать.

Увидел я, что часто жил с оглядкой,
что мало думал, чувствовал, хотел,
что было в жизни, чересчур уж гладкой,
благих порывов больше, а не дел.

Но средство есть всегда в такую пору
набраться новых замыслов и сил,
опять земли коснувшись, по которой
когда-то босиком ещё пылил.

Мне эта мысль повсюду помогала,
на первый взгляд обычная весьма,
что предстоит мне где-то у Байкала
с тобой свиданье, станция Зима.

Хотелось мне опять к знакомым соснам,
свидетельницам давних тех времён,
когда в Сибирь за бунт крестьянский сослан
был прадед мой с такими же, как он.

Сюда
сквозь грязь и дождь
из дальней дали
в края запаутиненных стволов
с детишками и жёнами их гнали,
Житомирской губернии хохлов.
Они брели, забыть о многом силясь,
чем каждый больше жизни дорожил.
Конвойные с опаскою косились
на руки их, тяжёлые от жил.
Крыл унтер у огня червей крестями,
а прадед мой в раздумье до утра
брал пальцами, как могут лишь крестьяне,
прикуривая, угли из костра.
О чём он думал?
Думал он, как встретит
их неродная эта сторона.
Приветит или, может, не приветит, —
бог ведает, какая там она!

Не верил он в рассказы да в побаски,
которые он слышал наперёд,
мол, там простой народ живёт по-барски.
(Где и когда по-барски жил народ?)

Не доверял и помыслам тревожным,
что приходили вдруг, не веселя, —
ведь всё же там пахать и сеять можно,
какая-никакая, а земля.
Что впереди?

Шагай!
Там будет видно.
Туда ещё брести — не добрести.

А где она,
Украйна, маты ридна?
К ней не найти обратного пути.

Да, к соловью нема пути,
на зорьке сладко певшему.
Вокруг места, где не пройти
ни конному, ни пешему,
ни конному, ни пешему,
ни беглому, ни лешему.

Крестьяне, поневоле новосёлы,
чужую землю этой стороны
сочесть своей недолей невесёлой
они, наверно, были бы должны.

Казалось бы, с нерадостью большою
они её должны бы принимать:
ведь мачеха, пусть с доброю душою, —
она, понятно, всё-таки не мать.

Но землю эту, в пальцах разминая,
её водой своих детей поя,
любуясь ею, поняли:
родная!
Почувствовали:
кровная,
своя…
Потом опять влезали постепенно
в хомут бедняцкий, в горькое житьё.

Повинен разве гвоздь,
что лезет в стену?
Его вбивают обухом в неё.
Заря не петухами их будила —
петух в нутре у каждого сидел.

Но, как ни гнули спины, выходило:
не сами ели хлеб, а хлеб их ел.
За молотьбой, косьбой,
уборкой хлева,
за полем, домом и гумном своим,
что вдоволь правды там, где вдоволь хлеба,
и хватит с них вполне,
казалось им.

И в хлеб, как в бога, веривший мой прадед,
неурожаи знавший без числа,
наверное, мечтал об этой правде,
а не о той, которая пришла.

Той правде было прадедовской мало.
В ней было что-то новое, своё.
Девятилетней девочкою мама
встречала в девятнадцатом её.

Осенним днём в стрельбе, что шла всё гуще,
возник на взгорье конник молодой,
пригнувшись к холке,
с рыжим чубом, бьющим
из-под папахи с жестяной звездой.
За ним, промчавшись в бешеном разгоне
по ахнувшему старому мосту,
на станцию вымахивали кони,
и шашки трепетали на лету.
Добротное, простое было что-то,
добытое уже наверняка
и в том, что прекратил блатных налёты
приезжий комиссар из губчека,
и в том, что в жарком клубе ротный комик
изображал,
как выглядят враги,
и в том, что постоялец —
рыжий конник —
остервенело
чистил
сапоги.
Влюбился он в учительницу страстно
и сам ходил от этого не свой,
и говорил он с ней о самом разном,
но больше всё —
о «гидре мировой».

Теорией, как шашкою, владея
(по мненью эскадрона своего),
он заявлял, что лишь была б идея,
а нету хлеба —
это ничего.

Он утверждал, восторженно бушуя,
при помощи цитат и кулаков,
что только б в океан спихнуть буржуя,
всё остальное —
пара пустяков.

А дальше жизнь такая, просто любо:
построиться,
знамёна развернуть,
«Интернационал»
и солнце — в трубы,
и весь в цветах —
прямой к Коммуне путь!

И конник рыжий, крут, как «либо-либо»,
набив овсом тугие торока,
сел на коня,
учительнице лихо
сказал:
«Ещё увидимся… Пока»

Взглянул,
привстав на стременах высоко,
туда,
где ветер порохом пропах,
и конь понёс,
понёс его к востоку,
мотая чёлкой в лентах и репьях…
Я вырастал,
и, в пряталки играя,
неуловимы, как ни карауль,
глядели мы из старого сарая
в отверстия от каппелевских пуль.
Мы жили в мире шалостей и шанег,
когда, привстав на танке головном,
Гудериан в бинокль глазами шамал
Москву с Большим театром и Кремлём.
Забыв беспечно об угрозах двоек,
срывались мы с уроков через дворик,
бежали полем к берегу Оки,
и разбивали старую копилку,
и шли искать зелёную кобылку,
и наживляли влажные крючки.
Рыбачил я,
бумажных змеев клеил
и часто с непокрытой головой
бродил один,
обсасывая клевер,
в сандалиях, начищенных травой.
Я шёл вдоль чёрных пашен,
жёлтых ульев,
смотрел, как, шевелясь ещё слегка,
за горизонтом полузатонули
наполненные светом облака.

И, проходя опушкою у стана,
привычно слушал ржанье лошадей,
и засыпал
спокойно и устало
в стогах, что потемнели от дождей.
Я жил тогда почти что бестревожно,
но жизнь,
больших препятствий не чиня,
лишь оттого казалась мне несложной,
что сложное
решали за меня.

Я знал, что мне дадут ответы дружно
на все и «как?», и «что?», и «почему?»,
но получилось вдруг, что стало нужно
давать ответы эти самому.

Продолжу я с того, с чего я начал,
с того, что сложность вдруг пришла сама,
и от неё в тревоге, не иначе,
поехал я на станцию Зима.
И в ту родную хвойную таёжность,
на улицы исхоженные те
привёз мою сегодняшнюю сложность
я на смотрины к прежней простоте.

Стараясь в лица пристально вглядеться
в неравной обоюдности обид,
друг против друга встали
юность с детством
и долго ждали:
кто заговорит?
Заговорило Детство:
«Что же… здравствуй.
Узнало еле.
Ты сама виной.
Когда-то, о тебе мечтая часто,
я думало, что будешь ты иной.

Скажу открыто, ты меня тревожишь,
ты у меня в большом ещё долгу».

Спросила Юность:
«Ну, а ты поможешь?»
И Детство улыбнулось:
«Помогу».

Простились, и, ступая осторожно,
разглядывая встречных и дома,
я зашагал счастливо и тревожно
по очень важной станции —
Зима.
Я рассудил заранее на случай
в предположеньях, как её дела,
что если уж она не стала лучше,
то и не стала хуже, чем была.
Но почему-то выглядели мельче
Заготзерно, аптека и горсад,
как будто стало всё гораздо меньше,
чем было девять лет тому назад.
И я не сразу понял, между прочим,
описывая долгие круги,
что сделались не улицы короче,
а просто шире сделались шаги.
Здесь раньше жил я, как в своей квартире,
где, если даже свет не зажигать,
я находил секунды в три-четыре,
не спотыкаясь, шкаф или кровать.
Быть может, изменилась обстановка,
а может, срок разлуки был велик,
но задевал я в этот раз неловко
всё то, что раньше обходить привык.
Здесь резали мне глаз необычайно
и с нехорошей надписью забор,
и пьяный, распростёршийся у чайной,
и у раймага в очереди спор.
Ну ладно, если б это где-то было,
а то ведь здесь, в моём краю родном,
к которому приехал я за силой,
за мужеством, за правдой и добром.
Слал возчик ругань в адрес горсовета,
дрались под чей-то хохот петухи,
и запылённо слушали всё это,
не поводя и ухом, лопухи.
Я ждал иного, нужного чего-то,
что обдало бы свежестью лицо,
когда я подошёл к родным воротам
и повернул железное кольцо.
И, верно, сразу, с первых восклицаний:
«Приехал! — Женька! —
Ух, попробуй сладь!»,
с объятий, поцелуев, с порицаний:
«А телеграмму ты не мог послать?»,
с угрозы:
«Самовар сейчас раздуем!»,
с перебираний —
сколько лет прошло! —
как я и ждал, развеялось раздумье,
и стало мне спокойно и светло.
И тётя Лиза, полная тревоги,
своё решенье вынесла, тверда:
«Тебе помыться надо бы с дороги,
а то я знаю эти поезда…»
Уже мелькали миски и ухваты,
уже во двор вытаскивали стол,
и между стрелок лука сизоватых
я, напевая, за водою брёл.
Я наклонялся, песнею о Стеньке
колодец, детством пахнущий, будя,
и из колодца, стукаясь о стенки,
сверкая мокрой цепью, шла бадья…

А вскоре я, как видный гость московский,
среди расспросов, тостов, беготни,
в рубахе чистой, с влажною причёской,
сидел в кругу сияющей родни.
Ослаб я для сибирских блюд могучих
и на обилье их взирал в тоске.
А тётя мне:
«Возьми ещё огурчик.
И чем вы там питаетесь, в Москве?
Совсем не ешь! Ну просто — неприлично…

Возьми пельменей… Хочешь кабачка?»
А дядя:
«Что, привык небось к «столичной»?
А ну-ка, выпьем нашего «сучка»!

Давай, давай…
А всё же, я сказал бы,
нехорошо уже с твоих-то лет!
И кто вас учит?
Э, смотри, чтоб залпом!
Ну, дай бог, не последнюю!
Привет!»

Мы пили и болтали оживлённо,
шутили,
но когда сестрёнка вдруг
спросила, был ли в марте я в Колонном,
все как-то посерьёзнели вокруг.

Заговорили о делах насущных,
которыми был полон этот год,
и о его событиях, несущих
немало размышлений и забот.
Отставил рюмку дядя мой Володя:
«Сейчас любой с философами схож.
Такое время.
Думают в народе.
Где, что и как — не сразу разберёшь.

Выходит, что врачи-то невиновны?
За что же так обидели людей?
Скандал на всю Россию, безусловно,
а всё, наверно, Берия-злодей…»

Он говорил мне,
складно не умея,
о том, что волновало в эти дни:
«Вот ты москвич.
Вам там, в Москве, виднее.
Ты всё мне по порядку объясни!»

Как говорится, взяв меня за грудки,
он вовсе не смущался никого.
Он вёл изготовленье самокрутки
и ожидал ответа моего.

Но думаю, что, право, не напрасно
я дяде, ожидавшему с трудом,
как будто всё давно мне было ясно,
сказал спокойно:
«Объясню потом».

Постлали, как просил,
на сеновале.
Улёгся я и долго слушал ночь.
Гармонь играла.
Где-то танцевали,
и мне никто не в силах был помочь.
Свежело.
Без матраса было колко.
Шуршал и шевелился сеновал,
а тут ещё меньшой братишка Колька
мне спать неутомимо не давал.
И заводил назревший разговор —
что ананас — он фрукт или же овощ,
знаком ли мне вратарь «Динамо» Хомич
и не видал ли гелиокоптёр…
А утром я, потягиваясь малость,
присел у сеновала на мешках.
Заря,
сходя с востока,
оставалась
у петухов на алых гребешках.
Туман рассветный становился реже,
и выплывали из него вдали
дома,
шестами длиннымии скворешен
отталкиваясь грузно от земли.
По улицам степенно шли коровы,
старик пастух пощёлкивал бичом.
Всё было крепким, ладным и здоровым,
и не хотелось думать ни о чём.
Забыв поесть, не слушая упрёков,
набив карманы хлебом, налегке,
как убегал когда-то от уроков,
да, точно так — я убежал к реке.
Ногами увязая в тёплом иле,
я подошёл к прибрежной старой иве
и на песок прилёг в её тени.

Передо мной Ока шумела ровно.
По ней неторопливо плыли брёвна,
и сталкивались изредка они.
Гудков далёких доходили звуки.
Звенели комары.
Невдалеке
седой путеец, подвернувши брюки,
стоял на камне с удочкой в руке
и на меня сердито хмурил брови,
стараясь видом выразить своим:
«Чего он тут?
Ну, ладно, сам не ловит,
а то ведь не даёт ловить другим…»
Потом, в лицо вглядевшись хорошенько,
он подошёл.
«Неужто?
Погоди!..
Да ты не сын ли Зины Евтушенко?
И то гляжу…
Забыл меня поди…
Ну, бог с тобою!
Из Москвы? На лето?
А ну-ка, тут пристроиться позволь…»
Присел он рядом,
развернул газету,
достал горбушку, помидоры, соль.

Устал я, на вопросы отвечая.
И всё-то ему надо было знать:
стипендию какую получаю,
когда откроют Выставку опять.

Старик он был настырный и колючий
и вскоре с подковыркой речь завёл,
что раньше молодёжь была получше,
что больно скучный нынче комсомол.
«Я помню твою маму лет в семнадцать,
за ней ходили парни косяком,
но и боялись —
было не угнаться
за языком таким и босиком.
В шинелишках, по росту перешитых,
такие же,
я помню,
как она,
что косы — буржуазный пережиток,
на митингах кричали дотемна.
О чём-то разглагольствовали грозно,
всегда как будто полные идей, —
ну, скажем, донимали вдруг серьёзно
вопрос «обобществления» детей!..
Конечно, и смешного было много
и даже просто вредного подчас,
но я скажу:
берёт меня тревога,
что нет задора ихнего у вас.
И главное, —
пускай меня осудят, —
у вас не вижу мыслей молодых.
А у людей всегда, дружок, по сути,
такой же возраст, как у мыслей их.
Есть молодёжь, а молодости нету…
Что далеко идти?..
Вот мой племяш, —
и двадцать пять ещё не стукнет в зиму эту,
а меньше тридцати уже не дашь.

Что получилось?
Парень был как парень,
и, понимаешь, выбрали в райком.
Сидит, зелёный, в прениях запарен,
стучит руководящим кулаком.

Походку изменил.
Металл во взгляде.
И так насчёт речей теперь здоров,
что не слова как будто дела ради,
а дело существует ради слов.
Всё гладко в тех речах, всё очевидно…
Какой он молодой,
какой там пыл?
Поскольку это вроде не солидно,
футбол оставил, девушек забыл.
Ну, стал солидным он, а что же дальше?
Где поиски,
где споров прямота?
Нет, молодёжь теперь не та, что раньше,
и рыба тоже
(он вздохнул)
не та…
Ну, вот мы и откушали как будто,
давай закинем, брат, на червячка…»
И, чмокая, снимал через минуту
он карася отменного с крючка.
«Ну и отъелся, а? Вот это прибыль!» —
сиял, дивясь такому карасю.
«Да ведь не та, вы говорили, рыба…»
Но он хитро:
«Так я же не про всю…»
И, улыбаясь, погрозил мне пальцем,
как будто говорил:
«Имей в виду:
карась-то, брат, на удочку попался,
а я уж на неё не попаду…»
За тётиными жирными супами
в беседах стал я жидок, бестолков.
И что мне тот старик всё лез на память?
Ну, мало ли на свете стариков!
Ворчала тётя:
«Я тебе не тёща,
чего ж ты всё унылый и смурной?
Да брось ты это, парень! Будь ты проще.
Поедем-ка по ягоды со мной».

Три женщины и две девчонки куцых,
да я…
Летел набитый сеном кузов
среди полей, шумящих широко.
И, глядя на мелькание косилок,
коней,
колосьев,
кепок
и косынок,
мы доставали булки из корзинок
и пили молодое молоко.

Из-под колёс взметались перепёлки,
трещали, оглушая перепонки.
Мир трепыхался, зеленел, галдел.
А я — я слушал, слушал и глядел.
Мальчишки у ручья швыряли камни,
и солнце распалившееся жгло.
Но облака накапливали капли,
ворочались, дышали тяжело.
Всё становилось мглистей, молчаливей,
уже в стога народ колхозный лез,
и без оглядки мы влетели в ливень,
и вместе с ним и с молниями — в лес!
Весь кузов перестраивая с толком,
мы разгребали сена вороха
и укрывались…

Не укрылась только
попутчица одна лет сорока.
Она глядела целый день устало,
молчала нелюдимо за едой
и вдруг сейчас приподнялась и встала,
и стала молодою-молодой.
Она сняла с волос платочек белый,
какой-то шалой лихости полна,
и повела плечами и запела,
весёлая и мокрая она:
«Густым лесом босоногая
девчоночка идёт.
Мелку ягоду не трогает,
крупну ягоду берёт».
Она стояла с гордой головою,
и всё вперёд
и сердце и глаза,
а по лицу —
хлестанье мокрой хвои,
и на ресницах —
слёзы и гроза.

«Чего ты там?
Простудишься, дурила…» —
её тянула тётя, теребя.
Но всю себя она дождю дарила,
и дождь за это ей дарил себя.
Откинув косы смуглою рукою,
глядела вдаль,
как будто там,
вдали,
поющая
увидела такое,
что остальные видеть не могли.
Казалось мне,
нет ничего на свете,
лишь этот,
в тесном кузове полёт,
нет ничего —
лишь бьёт навстречу ветер,
и ливень льёт,
и женщина поёт…
Мы ночевать устроились в амбаре.
Амбар был низкий.
Душно пахло в нём
овчиною, сушёными грибами,
мочёною брусникой и зерном.
Листом зелёным веники дышали.
В скольжении лучей и темноты
огромными летучими мышами
под потолком чернели хомуты.
Мне не спалось.
Едва белели лица,
и женский шёпот слышался во мгле.
Я вслушался в него:
«Ах, Лиза, Лиза,
ты и не знаешь, как живётся мне!
Ну, фикусы у нас, ну, печь-голландка,
ну, цинковая крыша хороша,
всё вычищено,
выскоблено,
гладко,
есть дети, муж,
но есть ещё душа!
А в ней какой-то холод, лютый холод…
Вот говорит мне мать:
«Чем плох твой Пётр?
Он бить не бьёт,
на сторону не ходит,
конечно, пьёт,
а кто сейчас не пьёт?»
Ах, Лиза!
Вот придёт он пьяный ночью,
рычит, неужто я ему навек,
и грубо повернёт
и — молча, молча,
как будто вовсе я не человек.
Я раньше, помню, плакала бессонно,
теперь уже умею засыпать.
Какой я стала…
Все дают мне сорок,
а мне ведь, Лиза,
только тридцать пять!
Как дальше буду?

Больше нету силы…
Ах, если б у меня любимый был,
уж как бы я тогда за ним ходила,
пускай бы бил, мне только бы любил!
И выйти бы не думала из дому
и в доме наводила красоту.
Я ноги б ему вымыла, родному,
и после воду выпила бы ту…»
Да это ведь она сквозь дождь и ветер —
летела молодою-молодой,
и я —
я ей завидовал,
я верил
раздольной незадумчивости той.
Стих разговор.
Донёсся скрип колодца —
и плавно смолк.
Всё улеглось в селе,
и только сыто чавкали колёса
по втулку в придорожном киселе…
Нас разбудил мальчишка ранним утром
в напяленном на майку пиджаке.
Был нос его воинственно облуплен,
и медный чайник он держал в руке.
С презреньем взгляд скользнул по мне,
по тёте,
по всем дремавшим сладко на полу:
«По ягоды-то, граждане, пойдёте?
Чего ж тогда вы спите?
Не пойму…»
За стадом шла отставшая корова.
Дрова босая женщина колола.
Орал петух.

Мы вышли за село.
Покосы от кузнечиков оглохли.
Возов застывших высились оглобли,
и было над землёй синё-синё.
Сначала шли поля,
потом подлесок
в холодном блеске утренних подвесок
и птичьей хлопотливой суете.
Уже и костяника нас манила,
и дымчатая нежная малина
в кустарнике алела кое-где.

Тянула голубика лечь на хвою,
брусничники подошвы так и жгли,
но шли мы за клубникою лесною —
за самой главной ягодой мы шли.
И вдруг передний кто-то крикнул с жаром:
«Да вот она! А вот ещё видна!..»

О, радость быть простым, берущим, жадным!
О, первых ягод звон о дно ведра!
Но поднимал нас предводитель юный,
и подчиняться были мы должны:
«Эх, граждане, мне с вами просто юмор!
До ягоды ещё и не дошли…»

И вдруг поляна лес густой пробила,
вся в пьяном солнце, в ягодах, в цветах.
У нас в глазах рябило.
Это было,
как выдохнуть растерянное «ах».
Клубника млела, запахом тревожа.
Гремя посудой, мы бежали к ней,
и падали,
и в ней, дурманной, лёжа,
её губами брали со стеблей.
Пушистою травой дымились взгорья,
лес мошкарой и соснами гудел.
А я…
Забыл про ягоды я вскоре.
Я вновь на эту женщину глядел.
В движеньях радость радостью сменялась.
Платочек белый съехал до бровей.
Она брала клубнику и смеялась,
смеялась,
ну, а я не верил ей.

Но помню я отныне и навеки,
как сквозь тайгу летел наш грузовик,
разбрызгивая грязь,
сшибая ветки,
весь в белом блеске молний грозовых.
И пела женщина,
и струйки,
струйки, пенясь,
по скользкому стеклу стекали вкось…
И я хочу,
чтобы и мне так пелось,
как трудно бы мне в жизни ни жилось.
Чтоб шёл по свету
с гордой головою,
чтоб всё вперёд —
и сердце, и глаза,
а по лицу —
хлестанье мокрой хвои
и на ресницах —
слёзы и гроза.

Раздумывал растерянно и смутно
и, вставши с тёплой, смятой мной травы,
я пересыпал ягоды кому-то
и пошагал по лесу без тропы.

Я ничего из памяти не вычел
и всё, что было в памяти, сложил.
Из гулких сосен я в пшеницу вышел,
и веки я у ног её смежил.
Открыл глаза.

Увидел в небе птицу.
На пласт сухой, стебельчатый присел.
Колосья трогал.

Спрашивал пшеницу,
как сделать, чтобы счастье было всем.
«Пшеница, как?

Пшеница, ты умнее…
Беспомощности жалкой я стыжусь.
Я этого, быть может, не умею,
а может быть, плохой и не гожусь…»

Отвечала мне пшеница,
чуть качая головой:

«Ни плохой ты, ни хороший —
просто очень молодой.
Твой вопрос я принимаю,
но прости за немоту.
Я и вроде понимаю,
а ответить не могу…»

И пошёл я дорогой-дороженькой
мимо пахнущих дёгтем телег,
и с весёлой и злой хорошинкой
повстречался мне человек.
Был он пыльный, курносый, маленький.
Был он голоден,
молод и бос.
На берёзовом тонком рогалике
он ботинки хозяйственно нёс.
Говорил он мне с пылом разное —
что уборочная горит,
что в колхозе одни безобразия
председатель Панкратов творит.
Говорил:
«Не буду заискивать.
Я пойду.
Я правду найду.
Не поможет начальство зиминское —
до иркутского я дойду…»
Вдруг машина откуда-то выросла.
В ней с портфелем —
символом дел —
гражданин парусиновый
в «виллисе»,
как в президиуме,
сидел.
«Захотелось, чтоб мать поплакала?
Снарядился,
герой,
в Зиму?
Ты помянешь ещё Панкратова,
ты поймёшь ещё, что к чему…»

И умчался.
Но силу трезвую
ощутил я совсем не в нём,
а в парнишке с верой железною,
в безмашинном, босом и злом.
Мы простились.
Пошёл он, маленький,
увязая ступнями в пыли,
и ботинки на тонком рогалике
долго-долго
качались вдали…

Дня через два мы уезжали утром,
усталые,
на «газике» попутном.
Гостей хозяин дома провожал.
Мы с ним тепло прощались.
Руку жали.
Он говорил,
чтоб чаще приезжали,
и мы ему —
чтоб тоже приезжал.
Хозяин был старик степенный, твёрдый.
Сибирский настоящий лесовик!
Он марлею повязанные вёдра
передавал неспешно в грузовик.
На небе звёзды утренние гасли,
и под плывучей, зыбкой синевой
опять в дорогу двинулся наш «газик»,
с прилипшей к шинам
молодой травой…
Махал старик.
Он тайн хранил — ого!
Тайгу он знал боками и зубами,
но то, что слышал я в его амбаре,
так и осталось тайной для него.
Не буду рассусоливать об этом…
Я лучше —
как вернулись,
как со светом
вставал,
пил молоко —
и был таков,
как зеленела полоса степная,
тайгою окружённая с боков,
когда бродил я,
бережно ступая,
по движущимся теням облаков.

Порою шёл я в лес
и брал двустволку.
Конечно, мало было в этом толку,
но мне брелось раздумчивее с ней.
Садился в тень и тихо гладил дуло.
О многом думал,
и о вас я думал,
мои дядья,
Володя и Андрей.
Люблю обоих.
Вот Андрей —
он старший…
Люблю, как спит,
намаявшись,
чуть жив,
как моется он,
рано-рано вставши,
как в руки он берёт детей чужих.
Заведующий местной автобазой,
измазан вечно,
вечно разозлён,
летает он, пригнувшийся, лобастый,
в машине, именуемой «козлом».
Вдруг, с кем-нибудь поссорившийся дома,
исчезнет он в район на день-другой,
и вновь — домой,
измучившийся,
добрый,
весь пахнущий бензином и тайгой.
Он любит людям руки жать до хруста,
в борьбе двоих, играючи, валить.
Всё он умеет весело и вкусно:
дрова пилить
и чёрный хлеб солить…

А дядя мой Володя
Ну, не чудо
в его руках рубанок удалой,
когда он стружки стряхивает с чуба,
по щиколотку в пене золотой!
Какой он столяр!
Ах, какой он столяр!
Ну а в рассказах —
ах, какой мастак!
Не раз я слушал, у сарая стоя
или присевши с края на верстак,
как был расстрелян повар за нечестность,
как шли бойцы селением одним
и женщина по имени Франческа
из «Петера» запела песню им…
Дядья мои —
мои родные люди!
Какое было дело до того,
что говорила мне соседка:
«Крутит
Андрей с женой шофёра одного.
Поговорил бы с тёткою лирично.
Да нет, зачем? Узнает и сама.
Ну, а Володя —
столяр он приличный,
но ведь запойный —
знает вся Зима».
Соседка мне долбила, словно дятел,
что должен проявить я интерес.
А я не проявлял.
Но младший дядя
куда-то вдруг таинственно исчез.
Всё время люди приходили с просьбой
то починить игрушку, то диван.
Им отвечали коротко и просто:
«Уехал на неделю.
По делам».
И вдруг соседка выкрикнула желчно,
просунувши в калитку острый нос:
«Да им перед тобою стыдно, Женька!
Лежит твой дядя —
рученьки вразброс.
Учись, учись, студентик, жизни всякой.
А ну, пойдём!»
И, радостна и зла,
как будто здесь была она хозяйкой,
меня в кладовку нашу повела.
А там лежал мой дядюшка в исподнем,
дыша сплошной сивухой далеко,
и всё пытался «Яблочко» исполнить
при помощи мотива «Сулико».

Увидев нас, привстал он с жалкой миной,
растерянный, уже не во хмелю,
и тихо мне:

«Ах, Женька ты мой милый,
ты понимаешь, как тебя люблю?..»
Не мог его такого видеть долго.
Он снова душу мне разбередил,
и, что-то расхотев
обедать дома,
я в чайную направился один.
В зиминской чайной жарко дышит лето.
За кухней громко режут поросят.
Блестят подносы, лица…

В окнах ленты,
облепленные мухами, висят.
В меню учитель шарит близоруко,
на жидкий суп колхозница ворчит,
и тёмная ручища лесоруба
в стакан призывно вилкою стучит.
В зиминской чайной шум необычайный,
летучих подавальщиц толчея…
За чаем, за беседой невзначайной,
вдруг по душам разговорился я
с очкастым человеком жирнолицым,
интеллигентным, судя по всему.
Назвался он московским журналистом,
за очерком приехавшим в Зиму.
Он, угощая клюквенной наливкой
и отводя табачный дым рукой,
мне отвечал:

«Эх, юноша наивный,
когда-то был я в точности такой!
Хотел узнать, откуда что берётся.
Мне всё тогда казалось по плечу.
Стремился разобраться и бороться
и время перестроить, как хочу.
Я тоже был задирист и напорист
и не хотел заранее тужить.
Потом —
ненапечатанная повесть,
потом —
семья, и надо как-то жить.
Теперь газетчик, и не худший, кстати.
Стал выпивать, стал, говорят, угрюм.
Ну, не пишу…
А что сейчас писатель?
Он не властитель,
а блюститель дум.
Да, перемены, да,
но за речами
какая-то туманная игра.
Твердим о том, о чём вчера молчали,
молчим о том, что делали вчера…»
Но в том, как взглядом он соседей мерил,
как о плохом твердил он вновь и вновь,
я видел только желчное безверье,
не веру, ибо вера есть любовь.
«Ах, чёрт возьми, забыл совсем про очерк!
Пойду на лесопильный. Мне пора.
Готовят пресквернейше здесь…
А впрочем,
чего тут ждать! Такая уж дыра…»
Бумажною салфеткой губы вытер
и, уловивши мой тяжёлый взгляд:
«Ах да, вы здесь родились, извините!
Я и забыл… Простите, виноват…»
Платил я за раздумия с лихвою,
бродил тайгою, вслушиваясь в хвою,
а мне Андрей:
«Найти бы мне рецепт,
чтоб излечить тебя.
Эх, парень глупый!
Пойдём-ка с нами в клуб.
Сегодня в клубе
Иркутской филармонии концерт.
Все-все пойдём. У нас у всех билеты.
Гляди, помялись брюки у тебя…»
И вскоре шёл я, смирный, приодетый,
в рубашке тёплой после утюга.
А по бокам, идя походкой важной,
за сапогами бережно следя,
одеколоном, водкою и ваксой
благоухали чинные дядья.
Был гвоздь программы — розовая туша
Антон Беспятых — русский богатырь.
Он делал всё!
Великолепно тужась,
зубами поднимал он связки гирь.
Он прыгал между острыми мечами,
на скрипке вальс изящно исполнял.
Жонглировал бутылками, мячами
и элегантно на пол их ронял.
Платками сыпал он неутомимо,
связал в один их, развернул его,
а на платке был вышит голубь мира —
идейным завершением всего…
А дяди хлопали… «Гляди-ка, ишь как ловко!
Ну и мастак… Да ты взгляни, взгляни!»
И я…
я тоже понемножку хлопал,
иначе бы обиделись они.
Беспятых кланялся, показывая мышцы…
Из клуба вышли мы в ночную тьму.
«Ну, что концерт, племяш, какие мысли?»
А мне побыть хотелось одному.
«Я погуляю…»

«Ты нас обижаешь.
И так все удивляются в семье:
ты дома совершенно не бываешь.
Уж не роман ли ты завёл в Зиме?»
Пошёл один я, тих и незаметен.
Я думал о земле, я не витал.
Ну что концерт — бог с ним, с концертом этим!
Да мало ли такого я видал!
Я столько видел трюков престарелых,
но с оформленьем новым, дорогим,
и столько на подобных представленьях
не слишком, но подхлопывал другим.
Я столько видел росписей на ложках,
когда крупы на суп не наберёшь,
и думал я о подлинном и ложном,
о переходе подлинности в ложь.
Давайте думать…
Все мы виноваты
в досадности немалых мелочей,
в пустых стихах, в бесчисленных цитатах,
в стандартных окончаниях речей…
Я размышлял о многом.

Есть два вида
любви.
Одни своим любимым льстят,
какой бы тяжкой ни была обида,
простят и даже думать не хотят.
Мы столько после временной досады
хлебнули в дни недавние свои.
Нам не слепой любви к России надо,
а думающей, пристальной любви!
Давайте думать о большом и малом,
чтоб жить глубоко, жить не как-нибудь.
Великое не может быть обманом,
но люди его могут обмануть.
Я не хочу оправдывать бессилье.
Я тех людей не стану извинять,
кто вещие прозрения России
на мелочь сплетен хочет разменять.
Пусть будет суета уделом слабых.
Так легче жить, во всём других виня.
Не слабости,
а дел больших и славных
Россия ожидает от меня.
Чего хочу?
Хочу я биться храбро,
но так, чтобы во всём, за что я бьюсь,
горела та единственная правда,
которой никогда не поступлюсь.
Чтоб, где ни шёл я:
степью опалённой
или по волнам ржавого песка, —
над головой —
шумящие знамёна,
в ладонях —
ощущение древка.
Я знаю —
есть раздумья от неверья.
Раздумья наши — от большой любви.
Во имя правды наши откровенья, —
во имя тех, кто за неё легли.
Жить не хотим мы так,
как ветер дунет.
Мы разберёмся в наших «почему».
Великое зовёт.
Давайте думать.
Давайте будем равными ему.
Так я бродил маршрутом долгим, странным
по громким тротуарам деревянным.
Поскрипывали ставнями дома.
Девчонки шумно пробежали мимо.
«Вот любит-то…
И что мне делать, Римма?»
«А ты его?»
«Я что, сошла с ума?»
Я шёл всё дальше.
Мгла вокруг лежала,
и, глубоко запрятанная в ней,
открылась мне бессонная держава
локомотивов, рельсов и огней.
Мерцали холмики железной стружки.
Смешные большетрубые «кукушки»
то засопят,
то с визгом тормознут.
Гремели молотки.
У хлопцев хватких,
скрипя, ходили мышцы на лопатках
и били белым зубы сквозь мазут.
Из-под колёс воинственно и резко
с шипеньем вырывались облака,
и холодно поблёскивали рельсы
и паровозов чёрные бока.
Дружку цигарку делая искусно,
с флажком под мышкой
стрелочник вздыхал:
«Опаздывает снова из Иркутска.
А Васька-то разводится, слыхал?»
И вдруг я замер, вспомнил и всмотрелся:
в запачканном мазутном пиджаке,
привычно перешагивая рельсы,
шёл парень с чемоданчиком в руке.

Не может быть!.. Он самый… Вовка Дробин!
Я думал, он уехал из Зимы.
Я подошёл и голосом загробным:
«Мне кажется, знакомы были мы!»
Узнал. Смеялись. Он всё тот же, Вовка,
лишь нет сейчас за поясом Дефо.
«Не размордел ты, Жень…
Тощой, как вобла.
Всё в рифму пишешь?
Шёл бы к нам в депо…»
«А помнишь, как Синельникову Петьке
мы отомстили за его дела?!»
«А как солдатам в госпитале пели?»
«А как невеста у тебя была?»
И мне хотелось говорить с ним долго,
всё рассказать —
и радость и тоску:

«Но ты устал, ты ведь с работы, Вовка…»,
«А, брось ты мне, пойдём-ка на Оку!»
Тянулась тропка сквозь ночные тени
в следах босых ступней, сапог, подков
среди высоких зонтичных растений
и мощных оловянных лопухов.
Рассказывал я вольно и тревожно
о всём, что думал,
многое корил.
Мой одноклассник слушал осторожно
и ничего в ответ не говорил.
Так шли тропинкой маленькою двое.
Уже тянуло прелью ивняка,
песком и рыбой, мокрою корою,
дымком рыбачьим…

Близилась Ока.
Поплыли мы в воде большой и чёрной.
«А ну-ка, — крикнул он, — не подкачай!»
И я забыл нечаянно о чём-то,
и вспомнил я о чём-то невзначай.
Потом на берегу сидели лунном,
качала мысли добрая вода,
а где-то невдали туманным лугом
бродили кони, ржали иногда.
О том же думал я, глядел на волны,
перед собой глубоко виноват.

«Ты что, один такой? —
сказал мне Вовка. —
Сегодня все раздумывают, брат.
Чего ты так сидишь, пиджак помнётся…
ишь ты каковский, всё тебе скажи!
Всё вовремя узнается, поймётся.
Тут долго думать надо.
Не спеши».
А ночь гудками дальними гудела,
и поднялся товарищ мой с земли:
«Всё это так,
а дело надо делать.
Пора домой.
Мне завтра, брат, к восьми…»

Светало…
Всё вокруг помолодело,
и медленно сходила ночь на нет,
и почему-то чуть похолодело,
и очертанья обретали цвет.
Дождь небольшой прошёл, едва покрапав.
Шагали мы с товарищем вдвоём,
а где-то ездил всё ещё Панкратов
в самодовольном «виллисе» своём.

Он поучал небрежно и весомо,
но по земле,
обрызганной росой,
с берёзовым рогаликом весёлым
шёл парень злой,
упрямый и босой…
Был день как день,
ни жаркий, ни холодный,
но столько голубей над головой.
И я какой-то очень был хороший,
какой-то очень-очень молодой.
Я уезжал…
Мне было грустно, чисто,
и грустно, вероятно, потому,
что я чему-то в жизни научился,
а осознать не мог ещё —
чему.
Я выпил водки с близкими за близких.
В последний раз пошёл я по Зиме.
Был день как день…
В дрожащих пёстрых бликах
деревья зеленели на земле.
Мальчишки мелочь об стену бросали,
грузовики тянулись чередой,
и торговали бабы на базаре
коровами, брусникой, черемшой.

Я шёл всё дальше грустно и привольно,
и вот, последний одолев квартал,
поднялся я на солнечный пригорок
и долго на пригорке том стоял.
Я видел сверху здание вокзала,
сараи, сеновалы и дома.
Мне станция Зима тогда сказала.
Вот что сказала станция Зима:
«Живу я скромно, щёлкаю орехи,
тихонько паровозами дымлю,
но тоже много думаю о веке,
люблю его и от него терплю.
Ты не один такой сейчас на свете
в своих исканьях, замыслах, борьбе.
Ты не горюй, сынок, что не ответил
на тот вопрос, что задан был тебе.
Ты потерпи, ты вглядывайся, слушай,
ищи, ищи.
Пройди весь белый свет.
Да, правда хорошо,
а счастье лучше,
но всё-таки без правды счастья нет.
Иди по свету с гордой головою,
чтоб всё вперёд —
и сердце и глаза,
а по лицу —
хлестанье мокрой хвои,
и на ресницах —
слёзы и гроза.
Люби людей,
и в людях разберёшься.
Ты помни:
у меня ты на виду.
А трудно будет
ты ко мне вернёшься…
Иди!»
И я пошёл.
И я иду.***